

— А я помню — бабушка пекла мне блины. Всегда, когда я хотела.

— Что, правда всегда?

— Всегда-всегда. Особенно когда я пошла в школу. Она меня спрашивала утром: «Что тебе сделать к обеду?», — а я отвечала: «Блины», — и она делала.

— А мне бабушка пирожки пекла. С мясом. Я в детстве мясо любил. Многие не любили, а я любил.

— Слушай, а ты кипяченое молоко с пенкой пил?

— Пил.

— С пенкой?!

— Ну да. А что такого?

— Но ведь она мерзкая?!

— Не знаю... не помню.

— А я вот, знаешь, все помню. Все-все что со мной было. И как меня в садик привели и как мы фотографировались, тогда редко фотографировались, надо было специально человека вызывать, деньги платить, и как из цветной бумаги картинки клеили. Одну как-то нашла случайно, а на ней написаны имя и возраст — 2, 5 года. Представляешь? А я помню.

— И что же там?

— Домик. Маленький, желтенький, а крыша голубая, съехавшая чуть-чуть. И я даже помню, почему она такая. Я когда ее приклеивала, думала, ее края будут вровень по потолку, а они, оказывается, должны были чуть-чуть выступать. Вот и вышло: один край вровень, а другой уехал. Получился домик с козырьком.

— А я в садике первый раз с девчонкой поцеловался. Не по-настоящему, конечно, но все-таки в губы. Я, помню, говорил ей: «Струсишь, струсишь», ну она и подставила губки. В трубочку вытянула, сжала крепко и подставила. А я чмокнул.

— А ты оказывается ловелас. — Ну, это я уже, конечно, шучу, чтобы заставить серьезного и большого Лёшку немного улыбнуться.

Вообще он очень стеснительный. Совершенно пленяющее сочетание — огромный и стеснительный. Иногда так смешно на него смотреть. Задумается, бывает, и не заметит, как заденет кого-нибудь широким плечом, шутка ли росту только почти два метра, так на него накинется сразу, мол, осторожней надо молодой человек и ворчат, и ворчат, а он сожмется весь, как будто сможет стать от этого меньше, и слушает, уткнув взгляд в ботинки. Мне его всегда жалко становится. Ну что тут сделаешь? И чем больше он старается никому не помешать и ни обо что не стукнуться, тем неуклюжее становится. Я обычно беру его за руку и слегка прижимаюсь к нему плечом, пусть знает, что мне его могучее плечо вреда не принесет. Лёшка огромный, и это хорошо. Хорошо идти с ним по скользкой дороге, вцепившись двумя руками в его рукав, под которым ощущается сила — зверь в состоянии вечного покоя. Хорошо смотреть, как он терпит у себя на коленях мою наглуую, бесцеремонную кошку, которая пачкает своей шерстью его брюки, покорно ожидая, когда та, наконец, выпитится и уйдет лакать молоко. Он мог бы, конечно, ее сбросить, но, во-первых, кошка моя, а значит в его понятии — неприкосновенна, а во-вторых, он боится причинить беспокойство даже ей.

Я зову Лёшку пить чай. Точнее это значит, что я принесу чай и что-нибудь сладкое в комнату.

Лёшка торопливо отказывается, говорит, что ему не хочется. Это неправда. Кушать Лёшка хочет всегда, только в разной степени. Поэтому я ухожу на кухню, чтобы сделать ему помимо чая и сладкого еще и толстые бутерброды с колбасой и сыром. Лёшке неудобно и он предпочел бы не есть, но я ставлю их перед ним и каждый раз буквально заставляю его проглотить их. У меня на то чтобы съесть один такой бутерброд ушла бы целая кружка чая, а он только один раз откусывает. При этом он плохо прожевывает и поэтому с трудом глотает крупные куски. Мне приятно кормить его, приятно готовить для него, зная, что все будет сметено в одну минуту.

— Лёшка, а поехали летом на озеро? — я произношу «Лёшка» ласково растягивая «ё».

— Поехали, только я плавать не умею.

— Как не умеешь? — для меня это шок, мне казалось, что плавать умеют все мальчишки.

— Не знаю. Как-то не получилось.

— Ну и ладно. Ты будешь ходить, а я вокруг тебя плавать. И если начну тонуть, ты меня спасешь, потому что тебе будет неглубоко.

— Зато я умею жарить шашлык.

— А я — только делать бутерброды.

Я представила себе, как хорошо будет повиснуть на нем в воде, ощущая, что его сильное тело не согнулось ни на миллиметр, или сидеть у костра, прислонившись к его широкой спине. А он молчун будет помешивать палкой ярко-красные головешки.

Да... Лёшка — страшный молчун. Бывает, придет, сядет в обшарпанное кресло, откинется и молчит. Весь вечер может молчать. Но меня почему-то это совершенно не смущает и не беспокоит. ) С ним хорошо ни о чем не говорить, потому что при этом я не чувствую себя неловко, наоборот, когда он в комнате мне становится комфортнее и спокойнее. Может это оттого, что с ним комната как-то сразу становится меньше, как будто все стены, пол и потолок взяли и придвинулись, а мебель — так та, вообще, кажется игрушечной.

Лёшка учится в институте. Он ходит туда с большой черной кожаной папкой. От этого вид у него как у молодого ученого, что, в общем-то, не далеко от истины. Он часто чертит на белом просторном ватмане все время норовящем скататься в трубочку — свое привычное состояние. Склонившись над чистым листом, он выводит идеально ровные черные линии — толстые, тонкие, пунктиром — заполняя пустоту смыслом. Ему очень идет заниматься своим делом, делом которое ему интересно и захватывает. В его лице сразу же пропадает страх что-нибудь сделать не так и на его месте появляется значительность и красота талантливого специалиста.

Без него мне бывает одиноко и тоскливо. Тоскливо, потому что я жду. Жду, когда он придет, молча сядет в кресло, будет терпеть мою кошку и с трудом глотать бутерброды. А еще будет думать что-то про себя и слушать мою бестолковую болтовню, слушать так, как никто и никогда — по-своему, просто потому, что это он, отчего мне станет тепло и весело, и я начну улыбаться и лучиться.

Лёшка большой, сильный, но есть в нем что-то по-детски незащищенное, что-то такое, что мне хочется закрыть, заслонить собой, чтобы оно осталось целым и сохранным. Чтобы никто ненароком, по своей грубой неосторожности, неосмотрительности, невнимательности и нежеланию замечать не повредил, не нарушил, не сломал, чтобы, не дай бог, это что-то из него не ушло, а взамен не пришло то, что в народе называется «настоящий мужик» — нечто пошрое, отвратительное и отвращающее. Я берегу его и себя, для себя и для него, и оружие мое самое сильное, то, которое не может не победить — бесконечная нежность до холода в

груди, до остановки дыхания, та, от которой опускаются ресницы и все внутри замирает.